



ЖАН-ФРАНСУА
ЛИОТАР

ХАЙДЕГГЕР И «ЕВРЕИ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
РОДИНА
2023

УДК 13
ББК 87
Л 60

Лиотар Ж.-Ф.

Л 60 Хайдеггер и «евреи». Исследование феномена / Перевод с французского В. Е. Лалицкого. – М.: Родина, 2023. – 224 с. : илл. – (Сила мысли).

ISBN 978-5-00222-123-3

«Я пишу «евреи» во множественном числе, чтобы уведомить: под этим именем я ссылаюсь не на предмет политики (сионизм), религии (иудаизм) или философии (еврейская мысль). В кавычках, чтобы избежать смешения этих «евреев» с евреями реальными», – так начал Жан-Франсуа Лиотар, французский философ-постмодернист, свое произведение, посвященное творчеству великого немецкого мыслителя Мартина Хайдеггера. Опираясь на анализ фрейдовских концепций, Лиотар показывает степень вовлеченности мысли Хайдеггера в стихию нацизма и в связи с этим выступает в роли «диагноста», чутко реагирующего на злободневные проблемы.

В том же ключе, отталкиваясь от классической философии и переходя к современным явлениям, Лиотар разбирает феноменологию Гуссерля, оппонентом которого был Хайдеггер.

**УДК 13
ББК 87**

© Лиотар Ж.-Ф. (Lyotard J-F),
правообладатели

© Перевод с французского
В.Е. Лалицкого

ISBN 978-5-00222-123-3

© ООО «Издательство Родина», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Хайдеггер и «евреи»

«Евреи»	6
Хайдеггер	55

Феноменология Гуссерля

Введение	102
Гуссерль	106
Науки о духе	146
Заключение	220

ХАЙДЕГГЕР И «ЕВРЕИ»

«ЕВРЕИ»

Я пишу «евреи» не из осмотрительности и не за неимением лучшего. Со строчной буквы, чтобы показать, что думаю не о нации. Во множественном числе, чтобы уведомить: под этим именем я ссылаюсь не на фигуру или предмет политики (сионизм), религии (иудаизм) или философии (еврейская мысль). В кавычках, чтобы избежать смешения этих «евреев» с евреями реальными. Реальнее же всего в реальных евреях то, что Европа, как минимум, не знает, что с ними, делать: христианская требует их обращения, монархическая их изгоняет, республиканская интегрирует, нацистская уничтожает. За неуместностью «евреи» не подпадают процессу, по которому евреи, в частности, реально проходят. Они — та популяция душ, которой тексты Кафки, например, примерным образом, предоставляют прибежище лишь для того, чтобы полнее препоручить их уделу заложников.

Забывчивые, как и все, души, которым, однако, Забытое не перестает снова и снова напоминать о долге перед ним. Напоминать не о том, чем оно было и чем является, ибо оно ничем не было и не является, а напоминать о себе как о том, что не перестает забываться. И это то — и не понятие, и не представление, а некий «факт», *Factum*: дело в том, что ты обязан, задолжал Закону, в долгу. Аффектация этого «факта» и преследуема (за) неуместностью.

О мотиве забвения мне напомнило приглашение принять участие в коллективной публикации, посвященной

«Политике забвения». Оказалось, что в разработке сценария о Мемориале, памятнике как проблеме, я забывал о забвении менее, нежели то принято. «Политика забвения» как раз и состоит, подумалось мне, в возведении мемориала. Затем к этому добавилось «дело Хайдеггера», дело о его политике. И до всякой полемики присутствовала еще и философская проблема этой политики, которую на протяжении ряда лет со всей беспристрастностью и пунктуальностью ставил Филипп Лаку-Лабарт.

«Заклячая», что преступление этой политики состояло не столько в приверженности фрайбургского ректора к национал-социализму, сколько в молчании по поводу уничтожения евреев, до самого конца хранимом мыслителем из Тодтнауберга.

Предлагаемый Филиппом Лаку-Лабартом мотив этого молчания, мотив, говоря наспех и заведомо неточно, «эстетический», соприкасается с озабоченностью, которую вызвали у меня кантовская аналитика возвышенного и последние тексты Адорно, посвященные критике «культуры», скажем, «сенсационного». В обоих случаях, как мне кажется, причем совсем по-разному, чтобы не сказать: противоположным образом, «Чувство», айстесис (в качестве наделенной формой материи), каковое делает возможным художественный вкус и эстетическое удовольствие, — в обоих случаях айстесис забывается, становится невозможным, уклоняется от своего представления (изображения посредством искусства). Но эта увертка бессильна против кое-чего другого: против противоречивого чувства некоего «присутствия», которое, конечно же, не присутствует, а как раз и должно быть забыто, чтобы оказаться представленным, хотя оно и должно быть представлено. Ну а этот мотив, каковой служит мотивом не только для пресловутых художественных «авангардов», но точно так же и для «евреев», явно не лишен сродства

с хайдеггеровским мотивом «прикрывающего раскрытия» и тревоги. Пусть эти случаи и предельно противоположны, всякий раз они подступают вплотную к одному и тому же мотиву «анесхезии»

Отсюда и парадокс — и даже скандал: как эта мысль (мысль Хайдеггера), всецело связанная с напоминанием, что в каждой мысли, во всяком искусстве, всяком «представлении» мира присутствует забвение (бытия), смогла пройти мимо мысли «евреев», каковая в каком-то смысле только это и мыслит, только это и пытается осмыслить, — смогла забыть ее и проигнорировать до такой степени, что молчала до конца, что навсегда отторгла — ужасающая (и тщетная) попытка истребить, заставить забыть — то, что с самого начала напоминает в Европе: «есть» и Забытое.

Это что касается «политики». Но само собой выходит, что тот же самый парадокс, если не тот же самый скандал того же самого забвения, наблюдается и в области совсем иной области, в области эстетики. Ибо и здесь тоже, как наглядно показал Филипп Лаку-Лабарт, нужно было, чтобы Хайдеггер (вслед за Гегелем) полностью упустил в своих размышлениях об искусстве проблематику возвышенного — по крайней мере, как таковую.

Дело Хайдеггера — «французское» дело. Можно с неприязнью относиться к этой формулировке, и я испытываю к ней неприязнь, поскольку в ней содержится, из нее распространяется такая геофилософия, которая, среди прочего, приходит к нам, возвращается к нам — через Хайдеггера — из нынешнего (и, без сомнения, неправимого) затмения универсализма эпохи Просвещения. Факт, однако, остается фактом: если «французы» во всем этом чувствительнее других, так потому, что уже очень давно они в лице Рембо, Малларме, Флобера, Пруста, Батая, Арто, Беккета — через то, что они называют «письмом» — свидетельствуют: литература. Если говорить

только о ней) основной своей целью всегда имела единственно вскрыть, представить словами то, что ускользает от всякого представления, то, что забывается. Это «присутствие», какое бы имя оно ни носило у того или иного, упорствует не столько на границах, сколько в самом сердце представления. Это — безымянное в тайне имен. Нечто забытое, каковое не вытекает из забвения реальности, поскольку ничто никогда и не запоминалось, и каковое можно вспомнить лишь как забытое «до» памяти и забвения и лишь его повторяя.

Его-то за попыткой вписаться в тексты Хайдеггера и уловили «философы» во Франции — как, конечно же, и за ее пределами. Именно так экзистенциализм, феноменология и марксизм и уступили место экзистенциально-онтологической мысли, «номадической», поскольку она не имеет места, деконструктивной, поскольку парадоксальной.

Я не пытаюсь здесь «объяснить», почему именно на Францию легла ответственность за мысль о внепамятном. Предположить, что «объяснение» допустимо и возможно, — все равно что заранее предполагать, будто оно связано с некоей «политической» историей (что более, нежели просто история), отмеченной обезглавливанием короля.

Чтобы без спешки разъяснить разницу между представительным, поправимым забвением и забвением, которое расстраивает любое представление, не мешало бы совместно перечитать — скрупулезно сохраняя огромные расхождения, разделяющую их несоизмеримость — текст кантовской эстетики и текст фрейдовской метапсихологии. Что, в общем и целом, начал Жак Лакан. Точнее, дерзнуть на утверждение, что вторичное вытеснение так же относится к первичному, как прекрасное к возвышенному. Причем в том, что касается материи или качества

кантовской данности или фрейдовского возбуждения, что касается способности к синтезу у Канта и к ассоциации у Фрейда, что касается пространственно-временной формы у одного или «образования» бессознательное-предсознательное у другого и, в частности, что касается того, каким образом кантовское возвышенное или фрейдовское *Nachtraglichkeit* не поддаются записи в «память», будь то даже и бессознательную.

* * *

Что касается политики забвения, очевидно, не мешало бы подойти к делу, так сказать, сверху, я хочу сказать, с рассмотрения работы историка. В этой работе задействовано немало воспоминаний. Но что касается забвения, эта память, мемория о мемориале весьма и весьма избирательна, она требует забвения того, что может заставить усомниться в сообществе и его законности. Дело не в том, что она не говорит об этом ни слова, как раз наоборот. Она представляет, может и должна представлять тиранию, разногласия, гражданскую войну, взаимное бесчестие, исполненные ярости и ненависти конфликты.

Она может и должна представлять войну и стасис в дискурсе (в широком смысле слова; это может быть мону-мент), каковой одним только представлением, которое он о них производит, их «превозмогает». Что касается природы этого представления, с необходимостью «риторического» в широком смысле слова, при случае даже «поэтического» (по своей сути трагедия тоже есть представление анти-общности, катастрофы), она может быть различной, например, по «жанру», но также и по топосам, тропам, тону, как представление, репрезентация, она обязательно является снятием, возвышением, которое захватывает в двух смыслах этого слова. Скажем на современном жаргоне: которое в двух смыслах привлекает. Любая полити-